



ФРИДРИХ

НИЦШЕ

*ГЕНЕАЛОГИЯ МОРАЛИ.
КАЗУС ВАГНЕР*

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

Эксклюзивная классика (АСТ)

Фридрих Ницше

Генеалогия морали. Казус Вагнер

«Издательство АСТ»

1887, 1888

УДК 1(091)(430)
ББК 87.3(4Гем)

Ницше Ф. В.

Генеалогия морали. Казус Вагнер / Ф. В. Ницше — «Издательство АСТ», 1887, 1888 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-149606-7

Фридрих Ницше – немецкий философ, филолог-классик, поэт, автор таких известных трудов, как «По ту сторону добра и зла», «Рождение трагедии из духа музыки», «Антихрист», «Так говорил Заратустра» и другие. «Генеалогия морали» была задумана как приложение к работе «По ту сторону добра и зла». Ницше со свойственной ему парадоксальностью мысли и глубиной психологического анализа развенчивает нравственные предрассудки и проводит ревизию всей европейской культуры. В сборник вошел также «Казус Вагнер», еще одно произведение Ницше, в котором он критикует деградацию современного ему культурного пространства. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

УДК 1(091)(430)

ББК 87.3(4Гем)

ISBN 978-5-17-149606-7

© Ницше Ф. В., 1887, 1888

© Издательство АСТ, 1887, 1888

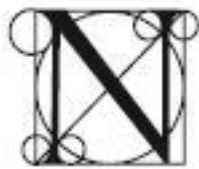
Содержание

Генеалогия морали	6
Предисловие	6
Трактат первый	11
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Фридрих Ницше

Генеалогия морали; Казус Вагнер

Серия «Эксклюзивная классика»



Перевод с немецкого *Н. Полилова*

© ООО «Издательство АСТ», 2022

Генеалогия морали

Предисловие

1

Мы не знаем себя, мы, познающие, не знаем сами себя: это имеет свою вескую причину. Мы никогда не искали себя – как же могло случиться, чтобы мы нашли себя? Справедливо сказано: «где сокровище ваше, там и сердце ваше»; сокровище наше там, где стоят улы нашего познания. Мы, как пчелы, как собиратели меда духовного, стремимся всегда к одному, заботимся, собственно говоря, искренне только об одном – принести что-либо домой. Кто из нас относится достаточно серьезно к жизни вообще, к так называемым «переживаниям»? Есть ли у нас на это время? Этими вещами, я боюсь, мы никогда не занимались как следует: не лежит к этому наша душа и наш слух!

Как рассеянный и ушедший в себя, когда в полдень часы бьют над его ухом двенадцать, просыпается и спрашивает себя: «Сколько, собственно говоря, били часы?» – так и мы почесываем у себя за ухом и растерянно, с изумлением спрашиваем: «Что же, собственно говоря, мы пережили?» Мало того, мы недоумеваем: «Что же мы, собственно, такое?»

Мы пересчитываем задним числом все двенадцать часовых ударов наших переживаний, нашей жизни, нашего бытия – ах! И обсчитываемся при этом... Неизбежно мы остаемся чуждыми себе, мы должны ошибаться в себе всегда, в силе остается для нас положение: «каждый наиболее чужд себе самому». По отношению к себе мы не являемся «познающими»...

2

Мои мысли о происхождении наших нравственных предрассудков – о них будет речь в этом полемическом сочинении – были впервые вкратце изложены в том собрании афоризмов, которое носит название «Человеческое, слишком человеческое. Книга для свободных умов». Начал писать я эту книгу в Сорренто, зимою, когда мне удалось остановиться – как останавливается путник – и окинуть взглядом обширную и опасную страну, по которой до той поры странствовал дух мой. Это было зимою 1876/77 года; сами мысли старше. В главных чертах это были мысли, подобные тем, которые я вновь разрабатываю в этой книге, – надеемся, что долгий промежуток был им на пользу, что они стали более зрелы, ясны, сильны, совершенны! Но то обстоятельство, что я придерживаюсь их еще в настоящее время, что сами они за это время все более сливались между собою, вросли друг в друга и срослись, – это укрепляет во мне радостную уверенность, что они с самого начала возникли во мне не разрозненно, не произвольно и случайно, но произошли от общего корня, глубокой потребности, основной воли познания, заявляющей все определеннее, требующей все более определенного. Только это достойно философа. Мы не имеем права быть в чем-нибудь разрозненными: мы не можем не заблуждаться в розницу, не находить истину. С той неизбежностью, с какою дерево приносит плоды, растут из нас наши мысли, наши произведения, наши «да» и «нет», и «если», и «кабы» – все родственные и связанные друг с другом и свидетели одной воли, одного здоровья, одной страны, одного солнца.

– Понравятся ли вам эти наши плоды?

– Какое дело до этого дереву! Какое дело до этого нам, философам!..

3

При свойственных мне сомнениях, в чем я неохотно сознаюсь, по отношению к морали, ко всему, что до сих пор славилось на земле как мораль, при сомнениях, которые возникли у меня так рано, так независимо, неудержимо, вразрез с окружающим, возрастом, примером, происхождением, что я мог бы почти с правом сказать, что это мое «а priori»¹, – мое любопытство, равно как и мои подозрения, должны были со временем остановиться на вопросе, откуда, собственно, ведут свое начало добро и зло. И действительно, тринадцатилетним мальчиком я занимался уже проблемой о происхождении зла. Этой проблеме я посвятил в возрасте, когда «сердце занято наполовину игрою, наполовину богом», мою первую литературную детскую работу, мое первое философское упражнение. Что касается моего тогдашнего «решения» проблемы, ну, я воздал, как и следовало, богу честь и сделал его отцом зла. Требовало ли этого от меня мое «а priori», то новое безнравственное или по меньшей мере ненравственное «а priori» и говорящий в нем, увы, столь антикантовский, столь загадочный «категорический императив», к которому я в то время все больше прислушивался, и не только прислушивался?..

К счастью, я своевременно научился отделять теологический предрассудок от нравственного и не искал более источника зла позади мира. Небольшие исторические и филологические навыки, в связи с врожденной разборчивостью относительно психологических вопросов вообще, вскоре обратили мою проблему в другую: при каких условиях изобрел человек эти определения, ценности, добро и зло? И какую они сами имеют ценность? Тормозят они или содействуют процветанию человечества? Являются ли они признаком нужды, бедности, вырождения жизни? Или, наоборот, проявляется в них полнота, сила, воля к жизни, ее бодрость, уверенность, будущность?

На эти вопросы я нашел, я имел смелость дать разные ответы, я различал времена, породы, разные достоинства индивидов, я специализировал свою задачу, ответы обращались в новые вопросы, исследования, предположения, вероятности. Наконец я приобрел собственную область, собственную почву, целый скрываемый, развивающийся, цветущий мир, подобный тайным садам, о которых никто не должен был ничего подозревать... О, как счастливы мы – мы, познающие, при том, конечно, условии, если мы умеем достаточно долго молчать!..

4

Первый толчок обнаружить кое-что из своих гипотез относительно происхождения морали дала мне ясная, опрятная и умная – старчески умная – книжечка, в которой я впервые ясно наткнулся на свое-образную английскую разновидность генеалогических гипотез наизнанку, и это привлекло меня тою притягательною силою, какой обладает все противоречащее, все противоположное. Заглавие книжки было «Происхождение нравственных восприятий», автор д-р Рэ (Paul Rée); год издания – 1877-й. Может быть, мне никогда не приходилось читать что-либо, где до такой степени, как в этой книге, на каждую фразу приходилось говорить про себя «нет», но делалось это без раздражения и нетерпения.

В указанном раньше произведении, над которым я тогда работал, при случае я касался положений этой книжки, не опровергая ее – какая мне надобность опровергать! – а, как подобает Положительному уму, ставя вместо невероятного более вероятное, а иногда и вместо одного заблуждения другое. Тогда, как сказано, я впервые обнаружил те гипотезы о происхождении морали, которым посвящена эта работа, делая это неловко – меньше всего желал бы

¹ Априори, независимо от опыта (лат.). – Здесь и далее примеч. ред.

я скрывать это от самого себя, – еще несвободно, не выработав еще своеобразного языка для этих своеобразных вещей, часто сомневаясь и колеблясь.

5

В сущности, я был занят тогда гораздо более важным вопросом, чем свои или чужие гипотезы о происхождении морали, или, вернее, последнее было только одним из средств для достижения определенной цели. Для меня был важен вопрос о ценности морали, а относительно этого мне приходилось считаться только со своим великим учителем – Шопенгауэром, – против которого, как живого противника, и была направлена моя книжка, ее страсть и ее скрытые возражения. (Это было также полемическое сочинение.)

Дело шло особенно о ценности «неэгоистического», об инстинктах сострадания, самоотречения, самопожертвования, которые именно Шопенгауэр так долго подкрашивал, боготворил, переносил в потусторонний мир, пока наконец они не остались у него как «самостоятельные ценности», которые и привели его к отрицанию жизни и себя самого. Но именно к инстинктам во мне росла все более глубокая подозрительность, скрытый скептицизм! Именно здесь видел я опасность для человечества, его высшую приманку и искушение – но к чему? К отрицанию? Именно здесь видел я начало конца, остановку, оглядывающуюся назад, усталость, восстание воли против жизни, нежно и уныло заявляющей о последней болезни. Я понял, что все более распространяющаяся мораль сострадания, охватывающая даже философов и лишаящая их здоровья, представляет ужаснейший симптом нашей ужасной европейской культуры, кружной путь к новому буддизму. К буддизму европейцев? К нигилизму?..

Это современное предпочтение и переоценка философами сострадания – нечто совершенно новое. До сих пор философы были согласны именно в отрицании ценности сострадания. Назову только Платона, Спинозу, Ларошфуко и Канта: эти умы в высшей степени различные, но согласные в одном – в низкой оценке сострадания.

6

Эта проблема ценности сострадания и морали, построенной на сострадании (я враг позорной современной чувствительности), кажется чем-то случайным, сомнительным; но кто остановится перед этим, кто поставит вопрос – тот испытает то же, что и я: перед ним открывается ужасная новая перспектива, возможность охватывает его, как головокружение, возникают всевозможные подозрения, недоверие, страх, колеблется вера в мораль, всякую мораль. Наконец, возникает новое требование. Выскажем его, это новое требование: нам необходима критика моральных ценностей, надо наконец усомниться в самой ценности этих ценностей. Для этого мне необходимо знание условий и обстоятельств, из которых они возникли, среди которых они развились и переместились, знание, которого до сих пор не было и в котором не ощущалось потребности, знание морали как следствия, симптома, маски, лицемерия, болезни, недоразумения, но также и морали как причины, целебного средства, известного стимула, как тормоза, как яда.

Ценность этих «ценностей» принимали за данность, за факт, считали ее несомненной; до сих пор нисколько не сомневались и не колебались считать «хорошего человека» более ценным, чем «дурного», более ценным в смысле успеха, полезности, успешности по отношению к человеку вообще (в том числе и будущности человека).

Как? А если бы было справедливо обратное? Если бы доброе было симптомом регресса, а следовательно, представляло опасность, соблазн, яд, одурманивающее средство, посредством которого современность живет за счет будущего? Может быть, живет удобнее, более безопасно, но и в более мелком стиле, пошлее?..

Не мораль ли виновна в этом, что никогда не будет достигнута возможная сама по себе мощь и красота типа «человек»?

Не является ли мораль опасностью самую опасную из всех опасностей?..

7

Довольно сказать, что сам я, когда передо мной открылась эта перспектива, имел основание искать ученых, смелых и трудолюбивых товарищей (это я делаю и в настоящее время). Необходимо исследовать путем новых вопросов и с новой точки зрения огромную, обширную и скрытую страну морали – действительно существовавшей, действительно жившей морали. Не все ли это равно что открыть вновь эту страну?..

Я думал при этом, между прочим, и об этом упомянутом д-ре Рэ, так как не сомневался вовсе, что сама природа его вопросов натолкнет его на правильный метод, чтобы получить ответ. Ошибся ли я в этом? Во всяком случае, я желал дать этому острому и беспристрастному взгляду лучшее направление, направление истинной истории морали, и вовремя предостеречь его от английских бесцельных гипотез, уходящих в голубую даль. Понятно ведь, какой цвет во сто крат важнее для генеалога морали, чем именно голубой: нужен цвет серый, я хочу сказать, документальный, могущий быть действительно установленным, действительно бывший, одним словом, вся длинная, трудно расшифровывающаяся иероглифическая рукопись прошлого человеческой морали!

Это прошлое было неизвестно д-ру Рэ. Но он читал Дарвина. Таким образом, в его гипотезах по меньшей мере забавно, что дарвиновская бестия и наисовременнейший скромный нравственный неженка, который «не кусается», подают вежливо друг другу руку; последний делает это с выражением известного добродушного и утонченного равнодушия на лице, к которому примешивается доля пессимизма, усталости, как будто бы вовсе не стоит так серьезно относиться ко всем этим вещам – проблемам морали.

Мне, напротив, кажется, что нет предмета, который более вознаграждал бы серьезное к себе отношение, ведь немалая, например, награда заключается в том, что со временем можно будет, вероятно, весело отнестись к морали. Веселость, или, употребляя мою терминологию, радостная наука, является наградой, заслуженной ценою долгой, смелой, трудолюбивой и подземной серьезности, к которой, конечно, способен не всякий. В тот день, когда мы от чистого сердца можем сказать: «Вперед! Вся наша старая мораль – простая комедия!» – мы откроем новое осложнение и новую возможность для вакхической драмы «Участь души». Она-то сумеет использовать ее, можно побиться об заклад, она – великий, старый, вечный сочинитель комедий нашего существования!..

8

Если книга эта кому-либо непонятна и плохо усваивается, то, мне кажется, вина в этом падает не обязательно на меня. Она достаточно ясна, при том, конечно, условии, которое я имею в виду, чтобы предварительно были прочитаны мои другие книги и чтобы читатель при этом не пожалел труда. Те книги действительно не легко доступны. Только того, например, я признаю знатоком моего «Заратустры», кого когда-либо глубоко задело или когда-либо глубоко восхитило каждое слово этого произведения. Только в таком случае он воспользуется преимуществом стать благоговейным участником стихии, из которой родилось это произведение в его солнечной яркости, широте и достоверности.

В других случаях затрудняет форма афоризмов: затруднение в том, что к форме этой относятся слишком легко. Афоризм, правильно отчеканенный и отлитый, требует не простого

прочтения, а «расшифровки». Здесь именно должно начинаться истолкование, для которого требуется особое искусство.

В третьей части этой книги я даю образчик того, что я в этом случае называю «истолкованием», – этой части предшествует афоризм, сама она – комментарий к нему. Конечно, чтобы пользоваться, таким образом, чтением как искусством, необходимо прежде всего одно свойство, которое в настоящее время основательнейшим образом забыто, – почему и «прочитаны» мои произведения будут еще не скоро, – для этого нужно быть почти коровой и, во всяком случае, «несовременным человеком» – необходимо *пережевывание*...

Сильс-Мария, Верхний Энгадин, июль, 1887

Трактат первый «Добро и зло», «хорошее и дурное»

1

Английские психологи, которым до сих пор мы обязаны единственными попытками создать историю происхождения морали, представляют для нас немалую загадку. И, как воплощенная загадка, признаюсь, они имеют даже некоторое преимущество перед своими книгами – они сами интересны для нас! Эти английские психологи – чего они, собственно, хотят? Добровольно или поневоле всегда заняты они одним и тем же делом, они стараются постоянно выдвинуть на первый план *partie honteuse*² нашего внутреннего мира и наиболее действительное, руководящее, имеющее решающее значение для развития ищут именно в том, в чем менее всего это желала бы видеть интеллектуальная гордость человека. (Например, в *vis inertiae*³, в привычке, в забывчивости, или в слепом и случайном сцеплении мыслей и их машинальности, или в чем-либо чисто пассивном, автоматичном, рефлексивном, молекулярном и в основе тупом.) Что же толкает этих психологов именно в эту сторону? Тайный ли это, коварный, подлый, быть может, несознаваемый даже инстинкт умаления человека? Или пессимистическая подозрительность, недоверчивость разочарованных, мрачных, ставших ядовитыми и позеленевших идеалистов? Или это маленькая скрытая враждебность и *гапсине*⁴ к христианству (и Платону), не вступившая, быть может, даже на порог сознания? Или даже похотливый вкус к странному, к мучительно парадоксальному, к сомнительному и бессмысленному в бытии? Или же, наконец, всего понемногу: немножко подлости, немножко мрачности, немножко антихристианства, немножко щекотки и потребности в перце?..

Но мне говорят, что это просто старые холодные скучные лягушки, которые ползают и скачут вокруг и внутри человека, как будто они там вполне в своей сфере – в болоте. Мне не хочется слышать, более того, я не верю этому; а если можно желать, где нельзя знать, то я от всей души желаю, чтобы было наоборот: чтобы эти исследователи и микроскописты души были бы, в сущности, смелыми, великодушными и гордыми зверями, которые умеют обуздывать как свое сердце, так и страдание, и воспитали бы себя к тому, чтобы жертвовать истине всеми желаниями своими, всякой истине, даже простой, грубой, уродливой, противной, нехристианской, безнравственной истине... Существуют ведь и такие истины.

2

Итак, полное уважение к добрым духам, управляющим этими историками морали! Но несомненно, к сожалению, что им чужд исторический дух, что они покинуты именно всеми добрыми духами истории! Все они мыслят совсем не исторически, как это уже принято у всех старых философов, неисторически по существу. Убогость их генеалогии морали обнаруживается тотчас же, когда речь заходит о том, чтобы определить понятие и суждение «добро».

«Первоначально, – декретируют они, – неэгоистические поступки хвалили и называли «добром» те, кому они оказывались, следовательно, кому они были полезны. Впоследствии

² Постыдную часть (*фр.*).

³ Силе инерции (*лат.*).

⁴ Злоба (*фр.*).

забыли источник этой похвалы и стали считать добром неэгоистические поступки вообще, как будто они были чем-то хорошим, так как они обычно превозносились как нечто хорошее».

Можно сразу заметить, что это отвлечение уже содержит все типичные черты идиосинкразии английских психологов; мы имеем здесь «полезность», «забывание», «привычку» и, в заключение, «заблуждение» – все это в качестве подкладки оценки, которой до сих пор высший человек вообще гордился как своего рода преимуществом человека.

Эта гордость должна быть унижена, эта оценка обесценена: достигнуто ли это?.. Прежде всего я должен сказать, что теория эта ищет и помещает, собственно говоря, очаг возникновения понятия «добро» на неверном месте. Суждение «добро» ведет свое начало не от тех, кому оказывается «добро»! Напротив, сами «добрые», т. е. знатные, могучие, высокопоставленные и благородно мыслящие, считали и выставляли себя самих и свои поступки как доброе, как нечто высшего сорта, в противоположность всему низкому, низменно мыслящему, пошлomu и плебейскому. Из этого чувства расстояния они впервые извлекли себе право создавать ценности, чеканить названия ценностей. Какое было им дело до полезности! Именно с такою выплавкой высших, определяющих степени вверх и вниз оценок совершенно несовместима и совсем неуместна точка зрения полезности. Именно здесь чувство пришло к противоположности той низкой степени тепла, которую предполагает всякая расчетливая рассудительность, всякий расчет полезности – и не на раз, не на час, в виде исключения, но на продолжительное время.

Источником контраста «хорошего» и «дурного» является, как сказано, чувство знатности и расстояния, продолжительное и преобладающее общее и основное чувство высшего господствующего рода по отношению к низшему роду, к чему-то «низшему». (Право господ давать имена заходит так далеко, что можно позволить себе считать источником даже языка проявление власти господствующих: они говорят «это то-то и то-то», они запечатлевают известную вещь и действие звуком и тем самым вступают во владение ею.) Такого рода происхождение доказывает, что слово «добро» первоначально не было вовсе с необходимостью связано с «неэгоистическим» поступком, как предполагает суеверие тех генеалогов морали. Напротив, именно при падении аристократических оценок человеческой совести постепенно навязывается весь этот контраст «эгоистического» и «неэгоистического» – этот, по моей терминологии, стадный инстинкт, получающий тогда распространение. Но и тогда еще долгое время инстинкт этот не достигает еще такого господства, что моральная оценка буквально зависит от этого контраста. (Это, например, имеет место в современной Европе. С безумной силой «навязчивой идеи» царит предрассудок, будто «моральный», «неэгоистический», «*désintéressé*»⁵ – понятия равноценные.)

3

Во-вторых, помимо исторической неприемлемости рассматриваемой гипотезы происхождения оценки «добра» она страдает психологическим внутренним противоречием. Предполагается, что источником похвалы неэгоистического поступка была его полезность и что это было забыто. Как возможно подобное забвение? Может быть, в известное время прекратилась полезность подобных поступков? Наблюдается совершенно противоположное: полезность эта, напротив, была всегда обыденным наблюдением, т. е. таким явлением, которое подчеркивалось непрерывно снова; следовательно, оно не только не могло исчезнуть из сознания, не только не могло быть позабыто, но должно было все резче запечатлеваться в сознании.

Насколько разумнее противоположная теория – что, впрочем, не делает ее истинной, – представителем которой, например, является Герберт Спенсер. Понятие «добро» он считает,

⁵ Незаинтересованный, бескорыстный (*фр.*).

в сущности, равным понятию «полезный», «целесообразный», так что в суждениях «добро» и «дурно» человечество будто бы суммирует и санкционирует именно незабытые и незабываемые познания о полезном – целесообразном и вредном – нецелесообразном. Добро, согласно этой теории, – то, что издавна оказалось полезным, поэтому оно получает значение как «ценное в высшей степени», как «ценное само по себе». И этот путь объяснения, как сказано, ложен, но, по крайней мере, само объяснение разумно и психологически приемлемо.

4

На правильный путь вывел меня вопрос, что, собственно, обозначают в этимологическом отношении выражения «добро» на разных языках.

Я нашел, что все они указывают на одинаковое превращение понятия, что всюду основным понятием является «знатный», «благородный» в сословном смысле, из которого развивается с необходимостью понятие «добро» в смысле «душевно-знатного», «благородного», «душевно-высокопоставленного», «душевно-привилегированного»; развитие это идет всегда параллельно с другим, которое «пошное», «плебейское», «низкое» в конце концов превращает в понятие «дурное». Красноречивейшим примером последнего является само немецкое слово «schlecht» (дурно), тождественное со словом «schlicht» (простой), которое первоначально обозначало без всякого оскорбительного смысла простого человека, простолюдина, в противоположность знатному. Приблизительно ко времени Тридцатилетней войны (следовательно, довольно поздно) смысл этого слова превращается в современный.

По отношению к генеалогии морали это кажется мне существенной справкой; такое позднее открытие этого объясняется задерживающим влиянием, которое в современном мире оказывает демократический предрассудок на все вопросы происхождения. Это распространяется и на объективнейшую, по-видимому, область естествознания и физиологии, что мы здесь только отметим. Но какой беспорядок может внести этот предрассудок, разнузданный до степени ненависти – особенно в области морали и истории, – доказывает известный пример Бокля; плебейство современного духа, которое английского происхождения, прорвалось здесь снова на родной почве, необузданное, как вулкан, извергающий грязь, с тем соленым, шумным, пошлым красноречием, каким до сих пор обладали все вулканы.

5

В отношении к нашей проблеме, которая с большим правом может быть названа молчаливой проблемой и которая доступна только немногим избранным, весьма интересно установить, что часто в тех словах и корнях, которые обозначают «добро», еще просвечивают главные оттенки, на основании которых знатные именно и считали себя людьми высшего ранга. Хотя в большинстве случаев они названием своим указывают на свое превосходство, могущество (как «могущественные», «господа», «повелители») или на видимые знаки этого превосходства, например как «богатые», «владеющие» (таково значение слова «âṅṇa»⁶: то же самое и в иранских и славянских языках). Но они называли себя также и по типичным характерным чертам: этот случай нас здесь и интересует. Они называют себя, например, «истинными»; прежде всего греческая знать, певцом которой был мегерский поэт Феогнис. Созданное для этого слово «ἐσθλός» по своему корню обозначает такого, который существует, который обладает реальностью, который действительно существует, кто истинен; затем истинный в субъективном смысле, правдивый.

⁶ Первоначальный санскритский смысл: «благородный».

В этой фазе изменения понятия слово это становится лозунгом дворянства и целиком переходит в значение «благородный», отличая его от лживого простолюдина, как его понимает и описывает Феогнис. Наконец, с падением дворянства слово это остается для обозначения духовного благородства и становится, так сказать, созревшим и сладким. В греческом слове «злой», как и «низменный» (плебей в противоположность «добрый»), подчеркнута трусость. Это дает, быть может, указания, где следует искать этимологическое происхождение имеющего много значений «αγαθός». В латинском языке «malus» (наряду с которым я ставлю «μελας») могло обозначать простолюдина как темноцветного, прежде всего как черноволосого («hic niger est»), как доарийского обитателя италийской почвы, который яснее всего отличался цветом от получившей господство белокурой, именно арийской расы завоевателей. Галльский язык дал мне, по крайней мере, точно соответствующий случай – слово «fin» (например, в имени Fin Gal), отличительное слово, обозначающее дворянство, затем доброе, благородное, чистое; означает первоначально белокурого, в противоположность к темным, черноволосым первобытным жителям.

Кельты, между прочим, были, безусловно, белокурой расой. Совершенно неосновательно ставят в связь с кельтским происхождением и примесью крови те полосы, главным образом черноволосого населения, которые видны на более подробных этнографических картах Германии; ошибку эту делает и Вирхов. Напротив, в этих местах проглядывает еще доарийское население Германии. (То же относится почти ко всей Европе. В общих чертах, в конце концов, покоренная раса получила преобладание по цвету, короткости черепа, может быть, и по интеллектуальным и общественным инстинктам. Кто поручится за то, что современная демократия, еще более современный анархизм и именно эта склонность к «commune», к первобытной общественной форме, общая теперь всем социалистам Европы, не является ужасной отрыжкой прошлого – и что раса победителей и господ, арийцев, подавлена и физиологически?..) Латинское слово «bonus», я думаю, можно истолковать в значении «воин», допустив, что я прав, производя «bonus» от древнейшего «duonus» (сравни: bellum = duellum = duenum, в котором, сдается мне, содержится тоже duonus).

Отсюда «bonus» в значении человека раздора, разделения («duo»), воина: понятно, что в Древнем Риме значила в человеке «доброта».

Немецкое «Gut» (добро, хороший) не обозначает ли «den Göttlichen» (божественного), человека божественного происхождения? Не тождественно ли оно с именем народа (первоначальным дворянством): народом *готов*? Подробные обоснования этих предположений приводить здесь неуместно.

6

Исключения из того правила, что понятие о политическом превосходстве всегда переходит в понятие о духовном преимуществе, не представляет и тот случай (хотя и дающий повод к исключениям), когда высшая каста является в то же время и жреческой и, следовательно, для своего общего обозначения предпочитает эпитет, указывающий на ее жреческие функции. Здесь, например, впервые в качестве классового различия появляются понятия «чистый» и «нечистый», и из этих понятий также впоследствии развивается понятие «хороший» и «дурной», уже не в классовом смысле.

Нужно, впрочем, остерегаться того, чтобы с самого начала не брать эти понятия – «чистый» и «нечистый» – в слишком тяжелом, широком или символическом смысле: все понятия древнейшего человечества, напротив, понимались первоначально в невообразимой для нас степени грубо, неуклюже, узко, именно (и особенно) несимволически. Чистый человек в первоначальном смысле – просто человек, который моется, человек, воздерживающийся от

известной пищи, которая влечет за собой кожные болезни, который не спит с грязными бабами простонародья, который чувствует отвращение к крови, – не больше, не многим больше!

С другой стороны, конечно, из самой сущности жреческой аристократии вытекает, почему именно здесь противоречия оценок так рано могли принять опасный внутренний и острый характер. И действительно, благодаря им в конце концов между людьми была создана пропасть, через которую без дрожи не перешагнет и Ахилл свободомыслия. В таких жреческих аристократиях с самого начала есть что-то нездоровое, и в господствующих в ней привычках отвращения к деятельности, в привычке к постоянному раздумью, прерываемому пароксизмом необузданного чувства, заключается причина почти неизбежной у духовенства всех времен болезненности и неврастения. Но не приходится ли сказать, что изобретенные ими самими против этой болезненности целебные средства по своим последствиям во сто раз опаснее, чем болезнь, от которой они должны избавиться? Само человечество хворает еще от последствий этой лечебной наивности духовенства. Припомним, например, известные формы диеты (воздержание от мяса), посты, половое воздержание, бегство «в пустыню» (вейр-митчелловское⁷ изолирование, конечно, без последующего откармливания и перенасыщения, в котором заключается лучшее средство от всякой истерии аскетического идеала). К этому надо прибавить всю враждебную чувственность, тлетворную утонченную метафизику духовенства, его самогипноз наподобие факиров и брахманов (причем brahman фигурирует в качестве стеклянного шарика и *idée fixe*) и в конце концов слишком понятное пресыщение с его радикальным лечением – посредством «ничто» (или бога: потребность в *unio mystica*⁸ с богом – это стремление буддиста к Ничто, нирване, – и только).

У духовенства именно все становится опаснее; не только целебные средства и искусства, но и высокомерие, месть, остроумие, распутство, любовь, властолюбие, добродетель, болезнь. С некоторой справедливостью можно во всяком случае сказать, что на почве этой *в самой сущности опасной* формы существования человека, формы священнической, человек вообще стал *более интересным животным*, что только здесь человеческая душа в высшем смысле достигла *глубины* и стала *злою* – а это ведь две основные формы превосходства человека над остальными животными!..

Человеческая история была бы слишком глупой штукой без духа, который внесли в нее бессильные: возьмем величайший пример. Все, что сделано на земле против «знатных», «могучих», «господ», «властителей», не заслуживает внимания в сравнении с тем, что сделали против них евреи; евреи – это народ, который умел удовлетвориться радикальной переоценкой ценностей своих врагов и победителей, следовательно, особым видом духовной мести. На это способен был только именно такой народ – народ наиболее затаенной священнической мстительности. Аристократическое уравнение ценности (хороший, знатный, могучий, прекрасный, счастливый, любимый богом) евреи сумели с ужасающей последовательностью вывернуть наизнанку и держались за это зубами безграничной ненависти (ненависти бессилия). А именно: только одни несчастные – хорошие; бедные, бессильные, низкие – одни хорошие; только страждущие, терпящие лишения, больные, уродливые – благочестивы, блаженные, только для них блаженство; зато вы, вы, знатные и могущественные, – вы на вечные времена злые, жестокие, похотливые, ненасытные, безбожные – и вы навеки будете несчастными, проклятыми и отверженными...

Известно, кто унаследовал эту еврейскую переоценку...

Относительно чудовищного чрезмерного почина, который проявили евреи этим принципиальнейшим из всех объявлений войны, я напомним положение, к которому я пришел по другому поводу («По ту сторону добра и зла»), что с евреев начинается *восстание рабов в морали*

⁷ Вейр-Митчелл Силас (1830–1914) – американский невропатолог.

⁸ Мистическом союзе (лат.).

— восстание, имеющее за собою двухтысячелетнюю историю, и оно теперь бросается в глаза только потому, что было победоносно.

7

Вы не понимаете этого? Вы не видите того, что потребовало две тысячи лет, чтобы победить?.. Этому нечего удивляться: все длинные вещи трудно рассмотреть, охватить взглядом. Несомненно одно: на стволе того дерева мести и ненависти, еврейской ненависти – глубочайшей и возвышеннейшей, создающей идеалы, преобразующей ценности, ненависти, еврейской ненависти, – выросло нечто столь же несравненное, новая любовь, глубочайшая и возвышеннейшая из всех видов любви; на каком же ином стволе она и могла вырасти?..

Но не надо думать, что она возникла в качестве как бы отрицания жажды мести, как бы контрастом еврейской ненависти! Нет, истинно как раз противоположное! Любовь выросла из этой жажды мести, из этой ненависти, как его крона, как торжествующая, все шире и шире развивающаяся на чистом солнечном свете вершина этого дерева. Эта вершина стремилась так же неудержимо в царстве света и высоты к целям той ненависти, к победе, к добыче, к соблазну, как корни этой ненависти все глубже и жаднее внедрялись во все, что имело глубину, что было злым.

Этот Иисус из Назарета, воплощенное евангелие любви, этот «Спаситель», несущий бедным, больным, грешникам блаженство и победу, – не было ли это именно искушением, в самой жуткой и непреодолимой форме, искушением и окольным путем именно к тем иудейским ценностям и новшествам идеала! Разве не на окольном пути именно этого «Спасителя», этого кажущегося противника и разрушителя Израиля, иудеи достигли последней цели своей высшей жажды мести?

Не было ли черным, тайным искусством истинно великой политики мести, дальнозоркой, подпольной, медленной и предусмотрительной мести то обстоятельство, что сам Израиль вынужден был объявить перед всем миром смертным врагом и распять на кресте орудие своей мести, чтобы «весь мир», все противники Израиля могли бы безбоязненно идти на эту приманку? Да и можно ли, с другой стороны, при всех ухищрениях ума вообще выдумать более опасную приманку?

Можно ли изобрести что-нибудь равное, столь же увлекательное, чарующее, оглушающее, подобно губительной силе этого символа «святого креста», этого ужасного парадокса «бога на кресте», этой мистерии невообразимой, последней, крайней жестокости и самораспятия Бога для спасения человека?.. Несомненно одно: что до сих пор Израиль своей местью и переоценкой всех ценностей *sub hoc signo*⁹ торжествовал постоянно над всеми другими идеалами, над всеми идеалами *более благородными*.

8

Но что вы говорите еще о более благородных идеалах! Покоримся фактам: народ победил – или победили «рабы», или «плебеи», или «стадо», или как вы пожелаете назвать, – если это произошло благодаря евреям, то исполать! – в таком случае никогда ни один народ не имел более всемирно-исторической миссии. «Господа» уничтожены: победила мораль человека толпы. Эту победу можно считать в то же время заражением крови (она перемешала народности) – я не возражаю, но отравление это, несомненно, удалось. «Избавление» рода человеческого (именно от «господ») на лучшем пути; все видимо обьюдилось, охристиани-

⁹ Под этим знаком (*лат.*).

лось или опошлилось (дело здесь не в словах!). Ход этой отравы по всему телу человечества, по-видимому, неудержим, отныне темп и движение могут быть даже все медленнее, тоньше, незаметнее, обдуманнее – время ведь терпит... Имеет ли Церковь в этом отношении еще необходимую задачу, вообще права на существование? Нельзя ли обойтись без нее? *Quaeritur*¹⁰. Кажется, что она скорее тормозит и задерживает это движение, вместо того чтобы его ускорять? Именно в этом могла бы быть ее польза...

Несомненно, что Церковь представляет нечто грубое, мужицкое, что противоречит более нежному разуму, действительно современному вкусу.

Не должна разве она, по крайней мере, стать немного-немного более утонченной?... В настоящее время Церковь более отталкивает, чем привлекает... Кто бы из нас был свободомыслящим, если бы не было Церкви. Нам противна не Церковь, а ее яд... Помимо Церкви, и мы также любим яд.

Это эпилог «свободного духа» к моей речи, честного зверя, как он это неоднократно доказал, и, кроме того, демократа; он слушал меня до сих пор и не выдержал, слыша меня молчащим. А мне на этом месте приходится много молчать.

9

Восстание рабов в морали начинается с того, что *ressentiment*¹¹ становится творческой и порождает ценности: *ressentiment* таких существ, которые на самом деле не способны к настоящей реакции, которые поэтому вознаграждают себя воображаемой мстостью. Между тем как благородная мораль возникает из торжествующего утверждения себя самого, рабская мораль с самого начала говорит «нет» «внешнему», «иному», «не себе»: и это «нет» и является ее творческим деянием. Это превращение наизнанку определяющего ценности взгляда, это неизбежное обращение к внешнему и равнение на него вместо обращения к самому и равнения на себя – именно и характерно для *ressentiment*. Мораль рабов для возникновения своего всегда нуждается первоначально во враждебном и внешнем мире, она нуждается, говоря физиологически, во внешнем раздражении, чтобы вообще действовать, – деятельность ее в основе своей является реакцией.

¹⁰ Спрашивается (*лат.*).

¹¹ Жажда мести, злопамятство (*фр.*).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.